

18+

АРИНА ЛОРЕЛЬ

ПЕПЕЛ АЛЫХ РОЗ

Арина Лорель

Пепел алых роз

«Издательские решения»

Лорель А.

Пепел алых роз / А. Лорель — «Издательские решения»,

Лондон, 1817 год. Эвелин Харгрейв, восемнадцатилетняя затворница, привыкла быть невидимкой. Серые платья, высокие воротники, опущенный взгляд — таков её способ выжить. Ведь она обладает проклятым даром: каждое прикосновение, каждая эмоция другого человека отзываются в ней физической болью. Она чувствует цвета чужих душ — и в мире слишком много лжи, зависти и страха. Её единственная надежда — тихий викарий Томас Уэзерби. Но судьба распоряжается иначе: разорившийся отец проигрывает Эвелин в карты.

© Лорель А.

© Издательские решения

Содержание

Пепел алых роз	6
Глава 2	9
Глава 3	15
Глава 4	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Пепел алых роз

Арина Лорель

© Арина Лорель, 2026

ISBN 978-5-0071-1318-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пепел алых роз

Глава 1

Лондон плавился, как свечной огарок на раскалённой сковороде. Июльская духота в особняке лорда Холбрука стояла такая, что даже тончайшие кружевные платки, намоченные одеколоном, не спасали — пот смешивался с духами, оставляя на коже липкий, приторный налёт. Воск на канделябрах тек жёлтыми слезами, и этот запах — горячий, густой, как патока — застревал в горле, мешая дышать. Эвелин Харгрейв вжалась спиной в мраморную колонну у восточной стены. Холод зелёного камня просачивался сквозь тонкую ткань платья, и это было единственной её защитой от кипящего вокруг человеческого моря.

Она умела только одно — становиться пустым местом.

Серый балахон, неуклюже перешитый из тётушкиного траурного гардероба, висел на её плечах, как парусина на мачте в полный штиль: широкий, бесформенный, ровно на два размера больше, чем следовало. Грубая льняная ткань глушила движения, делая её похожей на моль, что случайно залетела в коробку с кружевами. На фоне атласных корсажей и мерцающих креповых юбок лондонских наследниц она смотрелась не гостьей, а предметом мебелировки, который забыли вынести из гостиной. Серая мышь. Но мышь сидела в мышеловке, и та уже захлопнулась.

Она прикрыла веки — и тотчас мир взорвался изнутри тысячей осколков.

Этот дар, если его вообще можно было назвать даром, был открытой раной, которую никак не удавалось заживить. Эвелин не просто *слышала* чужие эмоции — она ощущала их кожей, каждой нервной клеткой, будто сотни незнакомых грубых пальцев одновременно касались её лица, шеи, запястий, внутренней стороны локтей. Тошнотно. Липко. Неотвязно. Чужие чувства вползали в неё, как змеи, сворачиваясь кольцами в солнечном сплетении.

В двух шагах, у фонтана с шампанским, леди Маргарет так крепко сжимала хрустальный бокал, что тот мог треснуть в любой момент. От неё тянуло кислым молоком — это была ревность, старая, вьёвшаяся в кровь, как пятно от вина на белой скатерти. Она смотрела на виконта Дарби, который кружил в вальсе с её лучшей подругой, и эта кислая волна оседала на языке Эвелин, заставляя её судорожно глотать воздух, будто тонущую.

У дверей трое джентльменов, раскрасневшихся от спора о скачках, источали озон — тот самый электрический запах, что бывает перед грозой, когда небо наливается свинцом. Их азарт бил Эвелин прямо в виски, пульсировал там, отдаваясь зубной болью. Она сжала кулаки так, что ногти впились в ладони, оставляя полумесяцы. Иногда боль помогала. Иногда — нет. Сегодня не помогало ничего.

— Мисс Харгрейв?

Прикосновение к локтю было мягким, почти невесомым, но для её обострённых чувств оно прозвучало как пощёчина. Эвелин вздрогнула всем телом, обернулась. Перед ней стоял Томас Уэзерби, и его правильные, будто вырезанные по трафарету черты лица казались скучными, как все портреты в дешёвых миниатюрах, которые продают на ярмарках.

От него пахло чернилами, сухим столярным клеем и... холодным, липким страхом. Он улыбался — вежливо, по-джентльменски, — но под этой улыбкой, как под тонкой плёнкой льда, билась паника. Страх отказа. Страх насмешки. Страх пустого кошелька и заложенного поместья. Тот же самый липкий ужас, с которым Эвелин просыпалась каждое утро, глядя на трещины на потолке своей спальни.

— Вы бледны, — сказал он, склонив голову набок, как обеспокоенная птица. — Может, предложить вам лимонаду? Или выйдем в сад? Здесь решительно нечем дышать.

Нечем. Он был прав. Но только не от жары. Эвелин чувствовала, как хрустальные люстры нависают над залой, как тяжёлая музыка вязнет в чужой ревности и похоти, и всё это давило на неё с такой силой, будто потолок готов был рухнуть и похоронить её под обломками. Она кивнула, не поднимая глаз.

В оранжерее оказалось легче. Стекланный купол открывал бархатное чёрное небо, усеянное редкими, блёклыми звёздами, и пахло влажной землёй, гардениями, мокрым мхом — эти запахи перебивали людской смрад. Эвелин вдохнула полной грудью, и впервые за этот бесконечный вечер ей стало чуть свободнее, будто с плеч сняли тяжёлый камень.

Они остановились в тени гигантского папоротника, чьи резные листья касались плеч Томаса. Он замялся, переминаясь с ноги на ногу. Эвелин знала, что сейчас произойдёт, — она чуяла это кожей: его внутреннее отчаяние, горячее и горькое, как спитой чай. Он тонул и хватал её, как соломинку. Разорённая семья, без гроша за душой — идеальная пара. Два утопающих в одном бурном море.

— Эвелин... — он запнулся, провёл пальцем по воротнику. — Я понимаю, сейчас не время и не место, но... у меня тётя в Девоне. Дом старый, но крыша не протекает. Сад, пять слуг, тишина. Вы ведь тоже не любите эти балы, я вижу. Мы могли бы... не любить их вместе.

Он не говорил о любви. Он даже не произнёс слова «сердце». И это было страшнее любых банальностей — потому что в этой корявой, практичной, почти деловой фразе звучала чистая, голая правда: он искал не жену, а спасательный круг. А она — круг. Серая мышь, которая не попросит бриллиантов и не устроит сцен.

Эвелин хотела ответить. Где-то глубоко, в самой тёмной глубине души, теплилась предательская мысль: *а что, если закрыть глаза на этот страх? Что, если привыкнуть? Жить тихо, в провинции, среди горшков с геранью, без балов и этой невыносимой боли...*

— Томас, я... — начала она, но голос сел, превратившись в хриплый шёпот.

И тут — звон. Где-то в бальной зале разбилось стекло, и вслед за этим грохнул грубый, пьяный хохот. Но в тот же миг в оранжерею, как ледяной сквозняк из раскрытой могилы, ворвалось чужое горе — чёрное, тягучее, словно дёготь. Кто-то там, за стеной, плакал навзрыд, а кто-то смеялся над этим, и этот чудовищный контраст ударил Эвелин в живот, скрутил внутренности узлом. Её качнуло, мир поплыл, теряя очертания. Она вырвала свою руку из пальцев Томаса, вцепилась в прохладную колонну, чувствуя, как тошнота подкатывает к горлу жгучей волной.

— Эвелин! — Томас растерянно метнулся к ней, его лицо побледнело ещё больше. — Вам плохо? Позвать горничную?

— Простите... — она отвернулась, пряча глаза. — Мне надо присесть. Воздуха. Мне просто нужен воздух.

Она не могла дать ответ. В голове всё ещё звенела чужая боль, как колокол, в который ударили прямо у уха. Эвелин почти бегом бросилась в самый дальний угол оранжереи, туда, где на широком подоконнике стоял горшок с засохшей мятой — единственное растение, которое никто не поливал, забытое и никому не нужное.

Она прижалась лбом к холодному стеклу, глядя на лондонское небо, затянутое дымом и тучами, и заплакала. Беззвучно, кусая губы, чтобы никто не услышал. Плакала от бессилия. Плакала потому, что единственный мужчина, предложивший ей будущее, пах страхом. Потому что её никто по-настоящему не видел — ни отца, погружённого в карточные долги, ни этих танцующих марионеток. Потому что даже в этом шумном, многолюдном городе не было ни единого человека, чьи чувства не резали бы её, как битое стекло.

Она ошибалась.

За сотню миль отсюда, в корнуолльском замке, вцепившемся в скалы над kloкочущим морем, где ветер выл в каменных щелях, как раненый зверь, другой человек смотрел в то же самое чёрное небо. Себастьян Блэквуд. В его груди билось сердце, истерзанное так же жестоко, как у неё, только она об этом не знала. В его глазах, холодных и цвета штормовой стали, отражался тот же самый страх — только страх иного рода.

Она не знала, что через неделю её отец, сэр Реджинальд Харгрейв, уже не будет снимать кольцо с фамильным камнем с такой невозмутимостью. Он поставит его на зелёное сукно игорного стола, напротив карты поместья Блэквуда, и кости лягут так, как ложатся только в кошмарах. Он проиграет не просто имение с полями и лесами. Он проиграет дочь, не спросив её согласия.

А пока Эвелин стояла у стекла, вдыхая горьковатый, увядший запах мяты и пытаясь унять крупную дрожь, её пальцы оставляли на стекле мутные, солёные разводы. В бальной зале её отец, красный от выпитого портвейна, уже делал последнюю ставку — и кости, звеня, катились по зелёному бархату, решая её судьбу с той же холодной неотвратимостью, с какой осенний ветер срывает последние листья. И никто в этом шумном зале не знал, что прямо сейчас, в этом затхлом воздухе, рождается проклятие, которое перевернёт их жизни.

Глава 2

Карета тряслась по пустынным вестминстерским улицам, и каждый булыжник мостовой отдавался в затылке Эвелин тупым, назойливым стуком, будто кто-то невидимый выбивал дробь на её черепе. Она сидела, втиснувшись в самый угол продавленного сиденья, и смотрела на жёлтые пятна уличных фонарей — они плыли за мутным, запотевшим стеклом, расплывались в грязные мазки, смешивались со слезами, которых она больше не могла удерживать. Горло саднило, но слёзы текли беззвучно, и она даже не вытирала их — пусть текут, всё равно никто не видит.

Напротив, откинувшись на ободранную подушку, сидел отец. От него тянуло дешёвым виски — резким, с примесью сивушных масел, — и кислым табачным дымом, который въелся в его сюртук до такой степени, что казался частью его плоти. Запах знакомый, тошнотворный, въедливый. Но хуже было другое: Эвелин *чувствовала* его настроение, и это ощущение кололо её изнутри, как заноза под ногтем. Он не был ни расстроен, ни придавлен. Он не горевал о проигранном состоянии, не сокрушался о будущем. В нём кипело злое, лихорадочное возбуждение — тот самый электрический озон, который она улавливала у карточных игроков в момент последней ставки, но удесятерённый, смешанный с животной, первобытной радостью хищника, который наконец дорвался до добычи.

— Папа? — позвала она тихо, почти шёпотом, боясь разрушить эту странную тишину между ними.

Он не обернулся. Его пальцы, унизанные дешёвыми кольцами, которые когда-то были семейными, барабанили по колену в бешеном ритме, не совпадающем с ходом кареты. Он смотрел в стенку, туда, где позолота на лепнине облупилась, обнажая серую штукатурку, и улыбался чему-то своему — тёмному, сокровенному, что не имело к ней никакого отношения.

Эвелин отвернулась к окну. В стекле отражалось её собственное лицо — бледное, с кругами под глазами, с дрожащими губами, которые она кусала до крови, чтобы не разрыдаться в голос. Она знала этот взгляд отца. Значит, случилось что-то непоправимое. Что-то, что он уже давно задумал, а теперь, наконец, свершилось, и он ликовал, как игрок, сорвавший куш.

— —

Дом на Харли-стрит встретил их привычной, давящей пустотой. Парадная лестница была тёмной — свечи в канделябрах давно не зажигали, экономку уволили ещё весной. Горничная Мэри, единственная, кто ещё оставался в этом обречённом доме, стояла в прихожей с заплаканными глазами, и от неё тянуло жалостью — липкой, сладковатой, как патока, которая прилипала к коже Эвелин и не отмывалась. Мэри знала. Знала всё. Может быть, даже больше, чем сама Эвелин.

— Миледи, — присела она в книксене, голос её дрожал. — Чай в гостиной. Я поставила на поднос, как вы любите, с мятой.

— Оставь нас, — сказал сэр Реджинальд, и голос его прозвучал неожиданно трезво — без пьяной хрипотцы, жёстко, командно. Так он говорил только тогда, когда готовился нанести удар.

Эвелин насторожилась. Она вошла в гостиную, и каждый шаг давался ей с трудом, будто ноги увязали в вязкой грязи. Вместо фамильных портретов на стенах висели тёмные прямоугольники — следы от давно проданных картин, которые когда-то составляли гордость рода Харгрейвов. Паркет был потёрт до дыр, гардины выцвели до грязно-белого. Она остановилась у камина, положила ладони на холодный мрамор и сжала его так, что побелели костяшки. Ждала.

Отец не спешил. Он подошёл к графину, налил себе виски — щедро, почти до краёв, — и опрокинул рюмку одним долгим, жадным глотком. Только тогда, когда обжигающий напиток растёкся по его нутру, Эвелин наконец уловила за его фальшивым спокойствием настоящую суть: страх. Холодный, скользкий, как рыба, выскользнувшая из рук. Он прорвался сквозь пьяную бравату и затопил всё остальное, делая его лицо серым, натянутым, как маска.

— Эвелин, — начал он, глядя не на неё, а в окно, где огоньки свечей дрожали в толстом стекле, отражаясь бесконечными призраками. — Я должен сказать тебе кое-что.

Она молчала. Её внутренний компас — тот, что всегда указывал на чужую боль, — сейчас бешено вращался, как сломанная стрелка, и невозможно было понять, куда он смотрит. Страх отца смешивался с чем-то ещё — с лихорадочной надеждой, с предвкушением, которое казалось ещё более отвратительным, чем само признание.

— Сегодня в «Уайтсе»... — он провёл ладонью по седым, редким волосам, и рука его дрожала. — Я играл. Сначала шла удача. Я выигрывал, думал — отыграю всё. Имение, твоё приданое, этот дом...

Он запнулся, сглотнул. Эвелин задержала дыхание, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле, мешая говорить.

— Но потом сел он. И карты пошли только к нему. Словно сам дьявол водил его рукой. Я проиграл три тысячи гиней. Чистыми, звонкой монетой.

Три тысячи. Это было всё, что осталось от состояния Харгрейвов. Она знала — отец давно заложил земли в Кенте, продал фамильное серебро, распродал библиотеку по частям, но три тысячи гиней были последним якорем, последней надеждой на то, что они не скатятся в полное ничтожество. Эвелин сжала мраморную полку так, что ногти оставили на ней белые следы.

— Папа, — сказала она, и голос её прозвучал чужим, холодным, как зимнее стекло, — мы продадим дом. Я найду место гувернантки, я умею вести счёт и говорить по-французски. Мы...

Он засмеялся. Смех его был сухой, истеричный, с надрывом — он резал ухо, как ржавое лезвие, и в нём не было ни капли веселья.

— Ты не понимаешь, Эви. Я проиграл не только деньги. — Он развернулся к ней, и глаза его блеснули мутным, болезненным огнём. — Он предложил удвоить ставку. Я был должен три тысячи, а он сказал: «Ставьте всё, что осталось, сэр Реджинальд. Всё, что у вас ещё есть». И я поставил.

Она похолодела. Но не от страха — от внезапной, ледяной ясности, которая снизошла на неё, как удар бича. Она уже знала ответ, но хотела услышать его своими ушами, чтобы убедиться, что этот кошмар реален.

— Что ты поставил, папа?

Он молчал. Смотрел на неё, и в этом взгляде было всё: человек, который тонет в ледяной воде, и перед ним только одна доска, и он уже схватился за неё, но понимает, что доска не выдержит двоих — и он готов оттолкнуть её, лишь бы самому выплыть. И в этом взгляде не было любви. Ни капли.

— Имение в Корнуолле, — выдавил он, отвернувшись к окну. — Оно убыточное, земли там каменистые, замок старый, но земля...

— Имение? — переспросила она, хотя знала, что это не всё. — Ты поставил имение?

— Я поставил всё, — прошептал он, шагнув ближе, и его голос упал до хриплого шёпота. — Дом, землю, твоё приданое, всё, что было...

И тут он замолчал. А потом сказал то, что переломило ей позвоночник, раздавило грудную клетку и оставило внутри лишь зияющую пустоту.

— И тебя.

Пол под ней не качнулся. Не провалился в бездну, как в дешёвых мелодрамах. Она просто перестала чувствовать ноги — будто их ампутировали, и она стояла на одних лишь оголённых нервах. Она ухватилась за каминную полку, чтобы не осесть, и пальцы её дрожали так сильно, что мрамор казался тёплым от этой дрожи. В ушах зазвенело — но не громко, не оглушающе, а тем тонким, пронзительным звоном, который бывает, когда стоишь слишком долго на колокольне, и колокол уже отзвонил, а в ушах всё ещё дрожит эхо.

И сквозь этот звон она *слышала* отца. Его чувства распахнулись перед ней, как книга, исписанная кровью и стыдом, — страницы были рваными, грязными, и на каждой из них стояла одна и та же буква: страх. Он хотел, чтобы она простила. Он хотел, чтобы она поняла — он был слаб, он ошибся, он не хотел, так вышло. Но под этим слоем раскаяния, как под тонкой плёнкой грязи, билось другое, страшное чувство: облегчение. Он сбрасывал её с рук. Он больше не нёс за неё ответственности. Теперь её будущее — не его забота, её муж — не его проблема. Он освободился.

— Ты... проиграл меня в карты? — спросила она, и голос её был сухим, как шелуха от гороха. — Как лошадь? Как золотой портсигар?

— Нет! — воскликнул он, шагнув к ней, протягивая руки, но она отшатнулась, и руки его повисли в пустоте. — Это маркиз Рэйвенскрофт! Он ищет жену. Он предложил сделку: я отдаю долг, он забирает тебя и имение. Ты станешь маркизой! Ты будешь жить в роскоши, у тебя будут слуги, бриллианты, ты забудешь эти нищие годы...

— Маркиз Рэйвенскрофт? — Она перебила его, и в голове её, как чёрные птицы, взметнулись обрывки шепотков, которые она слышала на балах, в лавках, на углах улиц, когда её дар, этот проклятый дар, улавливал чужие страхи и тайны.

Она закрыла глаза, и перед внутренним взором встали те самые слова, которые она всегда отгоняла, потому что боялась в них поверить, потому что они казались слишком чудовищными, чтобы быть правдой. Но сейчас они настигли её, как свора гончих.

*«Он убил свою первую жену. Нашли её в оранжерее мёртвой. Говорят, она улыбалась, когда умерла». *

*«Он сжёт деревню на Ямайке. Дотла. Говорят, он сам поднёс факел и смотрел, как горят дети». *

«Капер. Но ходили слухи — он нападал на испанские корабли под чужим флагом, грабил и топил всех, кто попадался под руку. Пират. Корнуолльский дьявол. Имя ему — Себастьян Блэквуд».

Эвелин открыла глаза. Она посмотрела на отца, и впервые в жизни не почувствовала к нему ничего — ни любви, ни злости, ни даже жалости. Только пустоту. Словно в груди выжгли дыру калёным железом, и через эту дыру уходило всё тепло, оставляя лишь холодное, безразличное спокойствие.

— Ты знаешь, кто он, — сказала она. Это не был вопрос. Это был приговор.

— Он богат, — прохрипел сэр Реджинальд, и его голос сорвался на фальцет. — У него замок, земли, порты в Корнуолле, связи при дворе...

— Он убийца, — тихо сказала Эвелин. В её голосе не было эмоций — только констатация факта, как если бы она читала объявление в газете.

— Слухи! — крикнул отец, но она слышала под этим криком фальшь, визгливую, тошнотворную ложь. Он знал. Знал всё. Знал, что маркиз — чудовище, что о нём ходят легенды, от которых стынет кровь, что его имя произносят шёпотом, крестясь. И ему было плевать. Он спасёт себя, утопив её. — Одни только слухи, Эви! К тому же, если он так ужасен, зачем ему ты? Ты же — серая мышь, прячешься по углам, бледная, как привидение! Зачем такому человеку такая жена?

Эвелин вздрогнула, но не от его слов — от того, *как* он их сказал. С обидой. С пренебрежением. Он не просто продал её — он презирал её. Всегда считал её неудачей: некрасивой, странной, слишком тихой, не умеющей ни танцевать, ни блистать в свете. Её дар, о котором она никогда не говорила, делал её замкнутой, отстранённой, и он принимал это за ущербность, за уродство души.

Она медленно выпрямилась, выпрямила плечи, хотя каждое движение давалось ей с трудом. Внутри закипело что-то новое — горячее, острое, совсем не похожее на привычную тоску. Словно в пустоте, оставленной отцом, зажглась крошечная, злая искра.

— Ты прав, папа, — сказала она, и голос её стал ледяным, как зимний ветер, — я серая мышь. Я прячусь по углам, я боюсь света и шума, я не умею улыбаться чужим людям. Но даже мышь имеет право знать, что её продают палачу. — Она шагнула к нему, и он попятился, впервые за всю ночь. — Ты продал меня человеку, который, по слухам, сжёг целую деревню и убил свою жену. И что ты получил? Три тысячи гиней и клочок каменистой земли. Цена моей жизни — три тысячи звонких монет. Это меньше, чем стоила твоя последняя упряжка лошадей.

Она замолчала. Тишина стала такой плотной, что было слышно, как потрескивает фитиль свечи в медном подсвечнике и как за окном ветер треплет вывеску соседней лавки. Отец смотрел на неё с открытым ртом, и на его лице впервые мелькнуло что-то похожее на стыд — но только на миг, сразу же поглощённое страхом.

— Он приедет завтра, — прошептал сэр Реджинальд, не поднимая глаз. Он опустился в кресло, сторбился, вдруг став похожим на старого, больного человека. — У него есть специальная лицензия. Он хочет заключить брак сразу, без оглашения, без помолвки. Завтра в десять утра он будет здесь.

Эвелин не ответила. Она развернулась и вышла, не оглядываясь, не сказав ни слова. Её шаги гулко, как похоронный марш, стучали по голым доскам коридора, и каждый шаг отдавался в груди тупой болью. Она поднялась на второй этаж, вошла в свою комнату, закрыла дверь и, наконец, когда никто не мог её видеть, опустилась на колени у порога.

Слёз не было. Они кончились ещё в оранжерее, на балу, когда она поняла, что никто, никогда не придёт ей на помощь. В груди разрасталась пустота — сухая, холодная, как подвал старого склепа, и в этой пустоте эхом билась одна-единственная мысль: *завтра я увижу его. Корнуольского дьявола. Моего мужа.*

Из гостиной всё ещё доносились крики отца. Он проклинал судьбу, карты, своё невезение, но в этих проклятиях не было раскаяния — только злая, животная боль за себя, за свой проигрыш, за то, что он стал нищим. Он не думал о ней.

Эвелин сидела на полу, привалившись спиной к двери, обхватив колени руками. Перед её внутренним взором вставал образ «Корнуольского дьявола», который рисовало воображение: высокий, мрачный, с глазами, которые, как шептались, могли остановить сердце, с руками, запятнанными кровью. Она думала о своей жизни — о даре, который сделал её отшельницей, о том, как она всю ночь просиживала у окна, вглядываясь в темноту, боясь людей и их эмоций. И о том, что теперь её ждёт новый кошмар. Муж, который, возможно, уже убил одну жену. Муж, чьё имя произносили с дрожью в голосе.

Но под слоем ледяного ужаса, глубоко в той самой пустоте, зарождалась странная, необъяснимая мысль. Она не знала, откуда она взялась, но она росла, как сорняк, пробивающийся сквозь асфальт. Если он настолько чудовищен, если он так страшен, — почему ей вдруг показалось, что его душа кричит так же громко, как её собственная? Почему в этом имени — Блэквуд — ей почудилась не только тьма, но и какая-то дикая, надломленная тоска?

Она не знала ответа. Она знала только одно: завтра она увидит его впервые. И её проклятый дар, который она ненавидела всю свою жизнь, покажет ей правду, которую скрывают слухи. Покажет, что таится под маской дьявола. Или подтвердит самые страшные из них.

Эвелин закрыла глаза и просидела так до самого рассвета, слушая, как тикают старые напольные часы в холле, отсчитывая последние часы её свободы. Когда первый бледный свет, серый
Вот расширенная и углублённая версия третьей главы. Я усилил атмосферу готического напряжения, добавил больше сенсорных деталей, психологических нюансов и внутренних монологов, а также сделал финальный контраст между чудовищной маской и внутренней пустотой Блэквуда более выпуклым.

Глава 3

Ночь Эвелин провела на полу. Спина прижата к холодной стене, колени подтянуты к груди так плотно, что позвонки хрустят при каждом вздохе. Взгляд прикован к узкой щели между тяжёлыми, выцветшими занавесками — там, за мутным стеклом, медленно серело лондонское небо, разбавляя чернильную тьму свинцовыми, безрадостными оттенками. Она не спала. Она боялась закрыть глаза — потому что за веками её ждал не покой, а бесконечная череда образов: зелёное сукно, катящиеся кости, ледяной голос, произносящий её имя как цену за долг.

Внизу, этажом ниже, хлопнула дверь, потом другая. Голос отца, срывающийся на истеричный фальцет, отдавал бессвязные приказы Мэри: *«Приведи всё в порядок, ради Бога! Разбуди её! Подготовь комнату!»* — будто наведение чистоты в обшарпанном доме могло замаскировать крах, сделать вид, что этот день — не последний день её свободы, а просто очередное утро.

Она услышала копыта за минуту до того, как они загрохотали у крыльца. Звук был тяжёлым, грузным, с металлическим, зловещим призывом — подковы били по мокрому булыжнику в ритме, от которого внутри всё сжималось, превращая внутренности в ледяной ком. Хищник приближался. Она знала это так же верно, как знала своё собственное дыхание.

Эвелин встала. Ноги затекли до онемения, колени хрустнули при разгибании, и она ухватила за край комода, чтобы не упасть. Подошла к трюмо — пыльное, заляпанное мушиными следами стекло отражало мутный, расплывчатый силуэт. Платье, которое Мэри наскоро выстирала и выгладила накануне, висело на её плечах как парус на мачте в полный штиль — бесформенное, мешковатое. Лицо белое, почти прозрачное, под глазами залегли тени цвета старого чернильного пятна. Волосы стянуты в узел слишком туго — кожа на висках натянута до боли, придавая взгляду испуганную, затравленную округлость. Мышь, серая и загнанная в угол. Мышь, которой осталось сделать только один шаг — в клетку.

Она спустилась, держась за перила, чтобы не оступиться. Каждая ступенька скрипела под её ногой, и этот скрип казался ей предсмертным стоном дома, который прощался с ней.

Молоток грохнул в дверь — один удар, тяжёлый, как удар топора, — и от этого низкого, вибрирующего звука стекло в прихожей зазвенело тонко, жалобно, будто оплакивая её. Отец уже стоял у входа, судорожно одёргивая сюртук, и воротник его рубашки был насквозь мокрым от пота, хотя утро стояло прохладное. Он глотнул, сглотнул с таким усилием, будто в горле застрял камень, и только после этого повернул бронзовую ручку.

И тогда она его увидела.

Рэйвенскрофт заполнил дверной проём целиком — широченные плечи, обтянутые чёрным сукном дорогого, но поношенного сюртука, голова почти касалась притолки, заставляя его слегка наклоняться. Волосы длиннее моды, они падали на высокий лоб неровными, нечёсанными прядями, словно он провёл ночь в седле под ветром. Лицо — будто его вырубили из гранита грубым каменным топором: скулы острые, почти хищные, подбородок квадратный, волевой, нос с лёгкой горбинкой, придававший ему сходство с хищной птицей. А глаза — серые,

холодные, как февральское море, без единой искры света. Глаза мертвеца, подумала она. Глаза человека, который давно перестал чему-либо удивляться.

Они сразу нащупали её, хотя она стояла в тени лестницы, вжавшись в стену, надеясь слиться с обоями. Этот взгляд был тяжёлым, физически ощутимым — она чувствовала его на своей коже, как прикосновение мокрого, ледяного пальца.

— Сэр Реджинальд, — голос низкий, с хрипотцой, словно горло протёрли наждачной бумагой. В нём не было приветствия, только констатация факта. — Это ваша дочь? — Он не спросил, он утвердил. В тоне не звучал вопрос — только стальное, непререкаемое знание.

Отец залепетал что-то про честь, про радость, про то, как он счастлив видеть милорда в своём доме, — но Рэйвенскрофт уже перешагнул порог, не дожидаясь приглашения. Вместе с ним в дом вполз холод — не физический, а тот, что идёт от человека, в котором нет тепла. Эвелин почувствовала, как воздух стал плотнее, тяжелее, как по её коже пробежали тысячи ледяных иголок. Или это была дрожь?

Он остановился в ярде от неё, и теперь она могла разглядеть детали: сеть тонких морщинок у глаз, которых не было ни на одном портрете, — следы бессонных ночей или постоянного напряжения; тёмная щетина на скулах, которую он не сбрил с утра; тонкий, бледный шрам над правой бровью, рассекающий кожу наискось. От него пахло солью, морским дёгтем и старым порохом — вьевшаяся, стойкая смесь, которую не выветрить из одежды за один день. Пахло морем. Пахло кораблём. Пахло чужими берегами и кровью.

— Мисс Харгрейв, — сказал он, и его губы, тонкие и бледные, скривились в подобии улыбки. Ни поклона, ни кивка — только взгляд сверху вниз, как на лошадь на ярмарке, оценивающий статью и цену.

Эвелин захлестнуло. Его эмоции ударили в неё с такой силой, будто она налетела лицом на кирпичную стену: презрение — острое, холодное, с примесью брезгливости, — било по её сознанию, как град по оконному стеклу. Он рассматривал её платье — мешковатое, выцветшее до мышиного, — её бледное, осунувшееся лицо, её дрожащие пальцы, которые она судорожно комкала подол, — и находил всё отвратительным, не стоящим внимания. Его взгляд скользнул по ней, как по пустому месту.

Но под этим слоем презрения...

Она нырнула глубже, как ныряют в тёмную, холодную воду, закрывая глаза и отдаваясь течению. И там, под коркой ледяного презрения, она наткнулась на пустоту. Зияющую, бездонную дыру, где у обычных людей копошатся, бурлят, кипят эмоции — страхи, надежды, гнев, сожаление. Там ничего не было. Ни гнева, ни печали, ни даже скуки. Ничего. Только чёрный, влажный провал, в который она могла бы провалиться, если бы сделала один неосторожный шаг. Пустота. Бездна. Могила.

Он мёртв внутри, поняла она. И от этого понимания её собственная дрожь стала сильнее. Оболочка движется, говорит, усмехается — но там, внутри, давно никого нет. Словно кто-то вырвал его душу, а тело оставили ходить по земле, пугая людей.

— Вы не сделали реверанс, — заметил он, и в его низком голосе прорезалась колючая насмешка. — Вас учили встречать гостей в исподнем? Или это ваш парадный наряд, которым вы надеетесь ослепить гостей?

Она взглянула на своё платье — бесформенное, выцветшее до серого, — и только сейчас поняла, что он принял его за ночную рубашку. Серая, мешковатая ткань, под которой не угадывалась фигура. Горло сжалось так сильно, что она не могла вдохнуть.

— Прошу прощения, милорд, — выдохнула она, делая неловкий, угловатый реверанс, больше похожий на судорогу. Щёки загорелись предательским румянцем, выдавая её унижение.

Он засмеялся. Сухо, отрывисто, как треск сухой ветки под сапогом. Смех резал воздух, и она чувствовала его на своей коже — как лезвие, которое оставляет невидимые, но кровоточащие царапины.

— Посмотри на себя, — он обошёл её по дуге, и она слышала, как громко скрипят половицы под его тяжёлыми сапогами. — Серое платье, серые туфли, серая кожа. Ты призрак? Илимышь, которую забыли выкурить из норы? Я, кажется, покупал жену, а не предмет мебелировки. И не стул. Стул хотя бы стоит прямо.

Каждое слово — как пощёчина. Как удар хлыстом по оголённым нервам. Но Эвелин, сквозь парализующий страх, продолжала слушать его душу — ту зияющую пустоту, которую он носил в себе. И под толстым слоем презрения, под брезгливостью и насмешкой, она уловила кое-что ещё. Еле слышно, как отдалённый звон колокола, — боль. Старую, глухую, ноющую, как воспалённая рана, которую никогда не давали зажить. Она пульсировала в самом центре той мёртвой пустоты, как чёрная, гниющая сердцевина. Кто-то или что-то разорвало его изнутри, и он носил эту рану годами, научившись не показывать её миру.

Эвелин замерла. Её собственный страх начал таять, уступая место изумлению — холодному, острому, как льдинка, застрявшая в горле. Он не был монстром. По крайней мере, не тем монстром, каким его рисовали. Он был человеком, который страдал. Который научился прятать боль за жестокостью, как она пряталась за серостью и тишиной. Как она убегала от людей, он убегал от себя.

— Что застыла? — рявкнул он, остановившись вплотную, и его голос, казалось, вибрировал в воздухе. — Язык проглотила? Или у тебя только мышинный писк, и тот застрял в горле?

— Я... — голос сорвался на шёпот, и она ненавидела себя за эту слабость. Она сглотнула, сжала кулаки так, что ногти впились в ладони, распрямила плечи. — Я могу говорить, милорд. И делать реверансы. Я не мебель.

— О, чудо! — он изобразил изумление, широко открыв глаза и повернувшись к отцу. — Сэр Реджинальд, а вы недооценили товар. У неё есть голос! И, кажется, даже есть искра. Я уж думал, вы мне стул продали. А это, оказывается, почти живое существо.

Отец что-то промямлил, уставившись в носки собственных ботинок, как провинившийся школьник. Эвелин видела, как его пальцы, униженные дешёвыми кольцами, сжались в кулаки — но не от гнева, от животного, ледяного страха. Он боялся этого человека. Все боялись. Она

чувствовала этот страх в воздухе, он исходил от отца, от Мэри, замершей в углу, даже от стен этого обшарпанного дома.

Рэйвенскрофт снова уставился на неё. Его взгляд скользнул вниз, к её рукам, которые она машинально теребила подол, комкая серую ткань.

— И это что? — неожиданно резко он схватил её за запястье, и она дёрнулась, как от удара. Его пальцы были ледяными, с жёсткой, огрубевшей кожей — ладони человека, который не знал перчаток, держал штурвал, сжимал эфес шпаги. Но от этого прикосновения по её телу побежали тысячи мурашек. — Ты дрожишь. Страшно?

Он наклонился к её лицу, и она почувствовала его дыхание на своей щеке — тёплое, но не согревающее. Контраст между огнём, который она угадывала в глубине его пустоты, и льдом, который сочился из его глаз, парализовал её. Она не могла ни отшатнуться, ни заговорить, ни даже моргнуть.

— Д-да, милорд, — выдавила она, и голос её дрожал так же сильно, как и тело. Она не могла солгать — он бы почувствовал. Своим чутьём хищника, которое, как она понимала, было развито в нём до звериной остроты.

Он усмехнулся, и в этой усмешке, на дне её, мелькнуло что-то похожее на удовлетворение. Её страх был ему пищей. Он питался им, как другие питаются вином и хлебом.

— Отлично. Бойся. — Он выдохнул эти слова, и его дыхание коснулось её кожи. — Это хоть что-то живое в тебе. — И вдруг он отпустил её запястье, и она пошатнулась, едва не упав, удержавшись за перила лестницы. — Завтра. Десять утра. Церковь Святого Джеймса. Лицензия у меня в кармане. Карета приедет за ней ровно в девять. Три часа на сборы. Всё остальное, что не поместится в один саквояж, бросите. Никаких сундуков, никаких книг, никаких сентиментальных безделушек.

— Но, милорд, — отец осмелился пискнуть, и голос его срывался, как у подростка, — брак — это событие, нужны гости, подготовка, оглашение...

— Сделка, — оборвал его Рэйвенскрофт, и голос его зазвенел сталью, ударив по тишине как клинок. В этом одном слове было столько презрения, что отец съёжился, будто его ударили. — Я забираю, вы получаете. Всё. — Он снова повернулся к Эвелин, и его серые глаза, холодные и безжалостные, впились в неё. — И, мисс Харгрейв, — его взгляд прошёлся по её фигуре, задерживаясь на мешковатом платье, — завтра наденьте что-нибудь цветное. Серость меня утомляет. Если я увижу на тебе ещё один серый балахон, я прикажу сжечь его вместе с твоими вещами. Мне нужна жена, а не призрак.

Он развернулся и зашагал к выходу, но у порога вдруг остановился. И Эвелин, не видя его лица, только спину, широкую и напряжённую, почувствовала: в этой ледяной, мёртвой пустоте на секунду блеснула искра. Тёмная, колючая, похожая на любопытство. Словно он, сам того не желая, заметил в ней что-то, что выбивалось из его картины мира.

Он обернулся, глядя на неё через плечо, и в этом взгляде уже не было насмешки. Только странная, тягучая задумчивость.

— Знаешь, — сказал он, и голос его потерял стальную звонкость, стал глуше, с хрипотцой, — мне говорили, ты странная. Тихая. В глаза не смотришь. Дрожишь от каждого звука. Но когда ты на меня смотрела... — он замолчал, и его взгляд стал тяжёлым, как свинец, — мне показалось, ты видишь то, что другие не видят. Что-то под кожей. Что-то, что я прячу.

Эвелин перестала дышать. Сердце билось о рёбра так сильно и гулко, что она боялась — он услышит этот стук в тишине прихожей. Он знает? Неужели он догадался о её даре? Или он просто, по своей чудовищной интуиции, почуял, что она не такая, как все?

Он усмехнулся — но теперь в этой усмешке не было злобы. Только боль, тонкая и острая, как заноза, впившаяся под ноготь. Боль, которую он не мог скрыть даже под маской дьявола.

— Надеюсь, я ошибаюсь, — бросил он, и в голосе его послышалась странная, почти мрачная усталость. — Потому что если ты действительно видишь меня таким, какой я есть... тебе будет ещё страшнее.

Он вышел, и дверь захлопнулась за ним, впуская в прихожую порыв сырого утреннего ветра. Копыта загрохотали по булыжнику, сначала громко и отчётливо, потом всё тише, затихая за поворотом, растворяясь в уличном шуме просыпающегося Лондона.

Эвелин стояла неподвижно, глядя на деревянные доски двери, которые только что закрылись за её судьбой. Она слышала, как отец выдыхает, как его дыхание срывается на всхлипы, чувствовала его облегчение — кислый, едкий запах, исходивший от него, как от старого перебродившего пива. Он был свободен. Она — нет.

Но она не обращала на него внимания. Она смотрела на дверь, за которой исчез Корнуольский дьявол, и в груди у неё бурлил коктейль из тысячи чувств: страх, отвращение, унижение, жалость — и что-то ещё, чему она не могла подобрать названия. Что-то тёмное, магнетическое, что тянуло её к этому человеку, несмотря на всё, что она о нём знала. Несмотря на его жестокость, несмотря на его холод.

Он был чудовищем. Он был жестоким. Он смеялся над ней, унижал её, превращал её страх в пищу для своего презрения.

Но под маской дьявола она увидела сломленного человека. Она увидела пустоту, в которой когда-то была жизнь, и что-то — или кто-то — вырвал её оттуда, оставив лишь оболочку, движущуюся по инерции. Она увидела боль, которую он носил в себе годами, и одиночество, которое было глубже, чем её собственное.

Она не знала, что ей делать с этим знанием. Может быть, в этом и было проклятие её дара — видеть то, что люди прячут, даже когда это знание приносит только новую боль. Но она понимала одно: завтра, когда она скажет брачные клятвы, она будет смотреть в глаза тому, кто либо спасёт её, либо уничтожит.

Но теперь она знала, что он тоже нуждается в спасении. И, возможно, именно поэтому — по иронии судьбы, по жестокой шутке небес — их столкнуло вместе. Два человека, которые научились прятаться, которые носили маски, чтобы выжить в этом мире. Два человека, которые боялись людей, но по-разному: она убегала от них, он — уничтожал.

Эвелин медленно поднялась вверх, чувствуя, как дрожат колени. Она закрыла дверь своей комнаты, снова прислонилась к ней спиной, но на этот раз не упала — она стояла, глядя в потолок, туда, где трещины на штукатурке напоминали карту неведомой страны.

Завтра, — подумала она, — я стану его женой. И я увижу его насквозь. Я увижу всё, что он прячет. Даже если это уничтожит меня.

Она не знала, что ждёт её в Корнуолле, в том замке на скалах, где ветер воет как раненый зверь. Но она знала одно: она больше не боится Корнуолльского дьявола. Она боится того, кого увидит под его маской.

И этот страх был страшнее смерти.

Глава 4

Серость за окном идеально совпала с цветом её платья. Эвелин надела его назло приказу маркиза — впрочем, другого выбора у неё и не было. Весь её скудный гардероб, перешитый из тётушкиных траурных нарядов и дешёвого ситца, выцвел до одного унылого, мышинового оттенка. Она стояла перед пыльным трюмо, а Мэри, шмыгая носом и вытирая слёзы тыльной стороной ладони, прикалывала к её голове вуаль — кусок старого тюля, когда-то служивший занавеской в гостиной, а теперь ставший фатой. Вуаль пахла нафталином и пылью, и этот запах въедался в кожу.

— Миледи, — голос Мэри дрожал, срывался на всхлип, — вы блее мела. Позвольте, я принесу вам чаю? Или бренди — в буфете есть бутылка, которую сэр Реджинальд забыл допить...

— Не надо, — ответила Эвелин, и голос её прозвучал ровно, безжизненно, как у человека, который уже покинул своё тело и наблюдает за происходящим со стороны, из тёмного угла потолка. Она смотрела на своё отражение и не узнавала себя. Тени под глазами въелись в бледную кожу, придавая лицу больничный, измождённый вид; губы потеряли цвет, сливаясь с общей белизной лица; пальцы дрожали так сильно, что засохший букетик полевых фиалок — Мэри срезала их на рассвете с подоконника на кухне — едва держался в её руке, готовый рассыпаться в любой момент.

— Вы не должны идти, — выпалила горничная, и в её голосе прозвучала такая отчаянная, такая надрывная мольба, что Эвелин вздрогнула. — Я слышала, что про него говорят... Я слышала, как люди шепчутся на рынке. Они говорят, что в его замке по ночам слышны крики. Что он...

— Знаю, — оборвала её Эвелин, и голос её стал твёрже, хотя внутри всё сжималось в ледяной ком. — Знаю, Мэри. Все знают. Но выбора у меня нет.

Мэри замолчала, но волна жалости — липкая, густая, сладковатая, как патока, — ударила в Эвелин с такой силой, что в висках зашумело, а перед глазами поплыли чёрные точки. Она зажмурилась, сжала букетик так, что тонкие стебли хрустнули, и глубоко вдохнула, отгораживаясь. Тишины. Хотя бы на один миг. Хотя бы чтобы пережить это утро.

Карета пришла ровно в десять — чёрная, лакированная, с траурным блеском, четвёрка вороных лошадей нетерпеливо перебирала копытами, выбивая искры из булыжников. Карета была гербовой — на дверце красовался серебряный ворон, держащий в клюве обломанную ветку, и этот символ смерти, вьёвшийся в чёрный лак, показался Эвелин дурным предзнаменованием. Она вышла из дома, чувствуя на затылке отцовский взгляд — он стоял на крыльце, бледный, как привидение, руки его тряслись, губы шевелились, но не произносили ни звука. Ни слова прощания. Ни слова благословения. Только молчаливый взгляд человека, который сбрасывает с плеч непосильный груз.

Она села в карету, колёса заскрежетали по булыжнику, и она не обернулась. Не хотела видеть его облегчение. Не хотела чувствовать, как отцовская душа поёт от радости, что дочь больше не его забота.

— —

Церковь Святого Джеймса оказалась маленькой и старой — её камни почернели от лондонского смога и копоты, а витражи пропускали мутный, больной свет, окрашивая пустые скамьи в грязные оттенки синего и багрового. Внутри воздух стоял ледяной — таким холодом веяло от древних каменных стен, что у Эвелин перехватило дыхание. Она видела облачка пара, вырывающиеся изо рта, когда переступала порог, и каждый шаг давался ей с трудом, будто она брела по дну ледяной реки, продираясь сквозь тяжесть. Туфли — стоптанные, на размер больше, доставшиеся от умершей кузины, — хлопали по каменным плитам, и это эхо, сухое и гулкое, разносилось под высокими сводами, возвращаясь к ней насмешкой.

У алтаря не было никого — только священник с лицом человека, которому давно надоело стоять здесь за десять шиллингов, и двое свидетелей в чёрных сюртуках, с одинаковыми деревянными, безжизненными физиономиями. Без родни, без друзей, без цветов, без музыки органа, без единой свечи на алтаре. Только холод, сырость, запах плесени, пропитавшей старую ткань на аналое, и этот зловещий полумрак, в котором тонули контуры церкви.

И он.

Себастьян уже стоял у алтаря — в безупречном чёрном сюртуке, белоснежный шейный платок приколот серебряной булавкой с крошечным чёрным камнем. Со стороны — дворянин с портрета старого мастера, воплощение аристократической выправки и ледяного достоинства. С другой стороны — палач, который пришёл поставить клеймо на свою жертву. Волосы его были тщательно зализаны назад, щёки выбриты до синевы, и ни единая морщинка на его лице не выдавала ни тревоги, ни волнения, ни даже скуки. Он стоял неподвижно, как мраморное изваяние, и только его глаза — серые, холодные, как штормовое море, — слегка перемещались, провожая её движения.

Эвелин двинулась к нему по центральному проходу, и каждый шаг давался ей с болью, будто подошвы прирастали к камню. Ног она не чувствовала — они онемели от холода. Рук тоже — букетик фиалок дрожал, готовый рассыпаться в прах. Только его взгляд — раздевающий, оценивающий, липкий, как прикосновение мокрой тряпки, — был реален. Он разглядывал её, как букашку, которую ещё не решил прихлопнуть, как товар, который он уже оплатил, но не успел распаковать.

Она остановилась рядом, и от него пахло пылью и морской солью — одеколон с горькой, терпкой ноткой, запах, который не согревал, а отталкивал. Холодный запах. Одинокий запах. Запах человека, который привык стоять на ветру.

Священник затянул монотонную, однообразную скороговорку, словно проводил сотую церемонию за эту неделю. Голос его звучал сухо, механически, без капли вдохновения. Эвелин не разбирала слов — в ушах стучало сердце, и этот пульс заглушал всё, кроме нарастающего постороннего гула, который шёл откуда-то изнутри, из самой глубины её существа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.